

ДОЧЬ ПАСТОРА.
СЫН ПОПЕЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ.
ГРЕХ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ИСКУШЕНИЕМ.

Искушая
ЭЛИЗАБЕТ

САША ФОРЖ

Если незнакомец приставит нож
к твоей щеке,

ты подставишь вторую?

18+

САША ФОРЖ
Искушая Элизабет

«Автор»

2026

ФОРЖ С.

Искушая Элизабет / С. ФОРЖ — «Автор», 2026

ОТРАЖЕНИЕ Я была послушной дочерью, идеальной христианкой, тихим отражением чужих ожиданий. Улыбалась вовремя и молчала тогда, когда нужно было молчать. Верила или притворялась, что верю. Пока однажды ночью не начала писать правду. Я думала, что в темноте экрана я в безопасности. Я ошибалась. Кто-то читал каждое слово. Кто-то знает, кто я на самом деле - и теперь этот кто-то владеет мной так, как никогда не владел Бог. Я чувствую его взгляд на своей коже каждое воскресенье. Я должна убегать. Но вместо этого я считаю дни до следующей встречи. ИСКУСИТЕЛЬ Я приехал в этот город ради живой мести. Но стоило мне увидеть, как она держит спину слишком прямо для человека, которому нечего скрывать, - и стал одержим ею. Она думает, что пишет в пустоту. Но ошибается. Я знаю каждую её трещину. Я охочусь на нее. Она называет меня своим кошмаром. Я называю себя её единственной правдой. Я обещал себе, что заберу у этого города всё, что он отнял у меня. Теперь я хочу забрать только её.

© ФОРЖ С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
Глава 1	11

САША ФОРЖ

Искушая Элизабет

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ОТРАЖЕНИЕ

Неделей ранее.

Солнце просачивалось сквозь занавески, расчерчивая пол моей комнаты золотистым светом. Вчера я осталась с ночёвкой у родителей, в комнате, которая годом ранее принадлежала мне. Я лежала на кровати, раскинув руки в стороны, и смотрела, как пылинки танцуют в этих световых столбах, медленно, лениво, словно у них тоже было воскресное утро и никуда не надо было спешить. В доме пахло корицей и ванилью, наверняка мама пекла булочки с яблоком, я так люблю, когда она их печёт. Где-то внизу звенела посуда, слышался приглушённый голос папы, он разговаривал по телефону с кем-то из попечителей, его голос был ровным и спокойным, без того волнения, которое появится в нём позже.

Я потянулась, чувствуя, как хрустят позвонки, и улыбнулась сама себе. Сегодня будет хороший день. Я чувствовала это кожей. Всё было правильно. Всё было на своих местах. Я встала с кровати, подошла к окну и отодвинула занавеску шире. Наш городок Миствейл просыпался — аккуратные домики с черепичными крышами, утренний туман, всё ещё цепляющийся за кроны. Где-то вдалеке, за холмами, виднелся шпиль церкви — тёмный и устремлённый в небо. Я смотрела на него и чувствовала спокойствие. Церковь была центром моего мира. В этом городе, среди этих людей, я знала, кто я есть и где я точно нужна.

Я встала с кровати, подошла к окну и отодвинула занавеску шире. Наш городок Миствейл просыпался: аккуратные домики с черепичными крышами, утренний туман, всё ещё цепляющийся за кроны. Где-то вдалеке, за холмами, виднелся шпиль церкви, тёмный и устремлённый в небо. Я смотрела на него и чувствовала спокойствие. Церковь была центром моего мира. В этом городе, среди этих людей, я знала, кто я есть и где я точно нужна.

Я надела своё любимое платье, нежно-голубое, с кружевным воротничком, которое так нравилось маме. Застегнула на воротнике последнюю пуговицу. Волосы собрала в низкий хвост, оставив несколько прядей обрамлять лицо. Блеск на губах, совсем немного. Папа всегда говорил: «Скромность украшает женщину, Элизабет». Я кивала и убирала яркую помаду обратно в ящик. Это было не сложно. Это было правильно.

Внизу меня уже ждал завтрак. Папа сидел во главе стола, в своей лучшей белой рубашке, с Библией рядом с тарелкой. Мама хлопотала у плиты, и от неё пахло мукой и теплом. Они улыбнулись, когда я вошла.

— Доброе утро, солнышко, — папа отложил книгу. — Готова славить Господа?

— Всегда, пап, — я чмокнула его в щёку и села за стол. Булочки были горячими, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Я откусила кусочек и прикрыла глаза от удовольствия. Мама улыбнулась своим мыслям, я видела, как на её лице появилась та мягкая, мечтательная улыбка, которая бывает у неё редко. — Хорошо, что сегодня я осталась у вас, иначе в своей крепости я бы даже глаза не открывала, там иногда так... тихо.

— Ты имеешь право приходить к нам и занимать свою комнату, когда захочешь, милая, — протянул папа, беря в руки вилку и поправляя салфетку на коленях. — Но не забывай, что у нас с мамой много забот в церкви, а ты уже такая взрослая, когда дело касается службы, мы всегда тебе рады. — Папа подмигнул.

Они правда всегда мне рады. Иногда я думаю, что им не хватает моего присутствия в доме, но ко мне они никогда не навешиваются, сколько бы я ни уговаривала, всё тщетно. Они стараются держаться подальше от моего поместья, будто оно чужая, незнакомая территория, а не дом их собственной дочери.

В церкви было многолюдно. Народ собирался на ступенях, обмениваясь приветствиями, воскресными улыбками и новостями о детях, здоровье и урожае. Миссис Гарт, пожилая женщина с вечно недовольным лицом, сегодня почему-то улыбалась во весь рот. Мистер Барроуз, который всегда выглядел немного уставшим, держал под руку свою жену и выглядел почти счастливым.

— Элиза! — звонкий голос Марты разнёсся над толпой. Она бежала ко мне с такой радостью, словно мы не виделись целую вечность, а не пять дней. Её светлые волосы аккуратно уложены в пучок, на лице — ровно столько косметики, сколько позволялось молодой христианке. Она была воплощением той самой пастельной идеальности, которую так ценила наша община. — Как дела? Как учёба? Ты выглядишь просто прекрасно!

— Спасибо, Марта, — я улыбнулась в ответ. — Учёба идёт хорошо, профессор Харгривз задал кучу литературы, но я справляюсь. А у тебя?

— О, у меня просто замечательно! — она загадочно улыбнулась, и в её глазах мелькнул тот самый блеск, который я не могла объяснить. Она перевела взгляд на дверь, куда входил Деклан в своём неизменном ярком шарфе, и на мгновение замешкалась. — Ой, прости, мне нужно... мне нужно сказать кое-что миссис Гарт. — Она легко коснулась моего плеча и упорхнула, оставляя за собой лёгкий запах цветочных духов.

Провожая взглядом её удаляющуюся фигуру, я заметила, как она остановилась у входа, обменявшись с Декланом быстрым взглядом — тем самым, который я не смогла бы описать, но который заставил меня слегка наморщить лоб.

Я, пожалуй, немного криво истолковала их общение. Во мне проснулась не совсем собственная мне зависть — Марта так сияла своей верой, что я почти почувствовала себя серой и неприметной рядом с ней. Мне казалось, что, должно быть, я стала меньше молиться в последнее время. Учёба, переезд, это дурацкое поместье — я позволила мирским заботам заполнить моё сердце, и теперь, глядя на Марту, я видела, как далеко отстою от её искреннего рвения. Я мысленно пообещала себе вечером найти время для долгой молитвы.

— Марта сегодня просто сияет, — сказала мама, подходя ко мне, пока мы шли внутрь. — Такая радость в Господе... Хороший пример для всех нас.

Я кивнула. Хороший пример. Думаю, да.

Проповедь папы была посвящена честности. О том, что нужно быть честным перед Господом, перед общиной и перед самим собой. Он говорил так красиво и искренне, что в какой-то момент я почувствовала, как слёзы подступают к глазам. Он прав. Надо быть честным. Надо стремиться к свету. Я смотрела на него, на его руки, лежащие на кафедре, на его лицо, озарённое светом из витражей, и думала: я хочу быть такой. Твёрдой в вере, неколебимой, чистой.

Служба закончилась, и мы начали расходиться по домам. У выхода из церкви я заметила Зою. Она стояла чуть поодаль, прислонившись к стене. Её тёмные волосы были небрежно собраны в пучок, под глазами залегли лёгкие тени — видимо, тоже долго не спала или переживала из-за чего-то.

— Зои! — я подошла к ней. — Ты в порядке? Выглядишь немного уставшей.

Она вздрогнула, как от неожиданности, и резко подняла на меня глаза. В них мелькнуло какое-то странное выражение — почти испуг. Но оно исчезло так же быстро, как появилось, сменившись привычной, немного дерзкой улыбкой.

— Элиза! Привет. Всё нормально, просто не спала ночью. Читала кое-что... ну ты знаешь, затянуло. — Она закатила глаза, и в её голосе проскользнула привычная непринуждённость. —

Как твоя проповедь? Твой папа, как всегда, был на высоте. Он так красиво говорил о честности — аж мурашки по коже.

— Он умеет убеждать, — улыбнулась я. — Слушай, я заметила, ты сегодня почти не пела. Всё в порядке?

— Всё замечательно, — она отмахнулась, и в этом жесте мне почудилось что-то почти раздражённое.

Мы немного помолчали. Я смотрела на неё и пыталась понять, что именно изменилось.

— Кстати, — сказала я, чтобы сменить тему, — родители хотели пригласить вашу семью, Марты и Деклана на ужин сегодня. Скажешь своим? Им можно будет передать приглашение?

— Конечно, — она снова кивнула, и на этот раз её улыбка стала чуть более живой. — Я передам. Ты ведь тоже там будешь?

— Буду, — я взяла её за руку на мгновение. — Мы давно не собирались все вместе. Будет хорошо.

Зои сжала мою руку в ответ, и в этом жесте было что-то почти отчаянное. Я не придавала этому значения.

Вечером того же дня мы собрались за большим дубовым столом в родительском доме. Стол был накрыт белой скатертью, которую мама доставала только по особым случаям: её бабушкино кружево, которое она хранила как зеницу ока, и хрустальные вазы, наполненные летними цветами. В центре стола возвышалось блюдо с запечённой курицей, вокруг неё — горки овощей и свежий хлеб. Свечи в подсвечниках ещё не были зажжены, но приглушённый свет ламп с абажурами создавал уютную, почти праздничную атмосферу. Запах мяты и розмарина смешивался с ароматом воска и дерева, и всё это было таким родным, таким правильным, что я чувствовала себя в безопасности.

Первыми пришли мистер и миссис Харрисон — родители Зои. Они были очень вежливыми, идеально скроенными людьми, которые всегда точно знали, какую вилку взять для закуски, а какую — для основного блюда. Мистер Харрисон был юристом, говорил ровно, размеренно, с лёгкой улыбкой. Миссис Харрисон — тихая, улыбалась так же ровно, как и её муж. Зои пришла следом за ними, и я заметила, что, несмотря на улыбку на её лице, в глазах всё так же стояла та странная пустота. Она на мгновение встретилась со мной взглядом, и я снова не поняла, что это было.

— Проходите, проходите, — папа широким жестом пригласил всех в гостиную. — Мы так рады, что вы согласились.

Затем пришли Финчи — родители Марты. Они были другими — более расслабленными, громкими, с лёгким налётом богемности. Отец Марты шутил о погоде, мать рассказывала о своей любимой гортензии, которая в этом году расцвела так пышно, что «просто невероятно, вы бы видели». Марта влетела в дом с улыбкой, которая казалась необычайно широкой, даже для неё. Она расцеловала мою маму, обняла папу и тут же начала что-то увлечённо рассказывать Зои, которая слушала её с деланным интересом, кивая через каждые полслова.

Последними пришли Деклан и его мать, миссис Кэмпбелл. Деклан был в том самом шарфе, который я видела в церкви, — клетчатый, нелепый, но почему-то все девушки находили его невероятно милым. Он вошёл с немного рассеянной улыбкой, извинился за опоздание — «задержался в мастерской» — и его глаза на мгновение встретились с глазами Марты. Он прошёл к столу, уселся рядом с ней, и я заметила, как их пальцы почти соприкоснулись, когда он брал салфетку.

Я не обратила на это внимания. Не придавала значения.

За ужином всё шло как по маслу. Папа сказал короткую молитву перед едой, и его голос звучал так же твёрдо и тепло, как всегда. Затем начались разговоры — о последних событиях в общине, о планах на предстоящий фестиваль урожая, о добрых делах и о том, как Господь благословляет наш маленький городок. Папа говорил о важности духовного воспитания, мама

поддерживала его мягкими репликами о необходимости семейных ценностей. Мистер Харрисон делился случаем из своей юридической практики, когда вера помогла одному из его клиентов найти выход из сложной ситуации. Миссис Финч рассказывала о том, как её любимая гортензия «всегда цветёт только после того, как она прочитает вечернюю молитву».

Я слушала, улыбалась, кивала в нужных местах. Курица была сочной, овощи — хрустящими, вино — приятно освежало горло. Мы смеялись над шутками Деклана, которые были, по правде сказать, не самыми остроумными, но все делали вид, что это забавно. Мы говорили о Боге, о вере, о планах на будущее — везде маячила церковь, община, служения, правильные слова.

В какой-то момент я заметила Зою. Она сидела напротив меня, и её тарелка была почти полной, хотя ужин уже подходил к середине. Она водила вилкой по картофельному пюре, не отрывая взгляда от тарелки, словно пыталась нарисовать в нём какой-то невидимый узор. Бокал стоял почти нетронутый, а кусочек курицы лежал на её тарелке, как невеста откуда взявшийся предмет.

— Зою, — тихо спросила я, стараясь не привлекать внимания, — ты не хочешь есть? Всё очень вкусное.

Она подняла на меня взгляд. На мгновение мне показалось, что она хотела что-то сказать — что-то важное, что слетело бы с её губ, если бы я чуть больше надавила. Но она лишь слегка улыбнулась и покачала головой.

— Я немного переволновалась перед ужином, — ответила она. — Но всё хорошо. Правда.

Я не настаивала. Я подумала, что это просто усталость. В конце концов, у всех бывают такие вечера, когда аппетит пропадает. И я снова улыбнулась, кивнула и перевела взгляд на папу, который рассказывал о важности «чистоты помыслов».

Внезапно Марта поднялась из-за стола.

— Простите, мне нужно выйти на минутку, — её голос звучал легко и непринуждённо. — Я скоро вернусь.

Никто не обратил внимания. Родители продолжали свой разговор, Деклан рассказывал какую-то забавную историю из своей художественной мастерской.

Через несколько минут у Деклана зазвонил телефон, и он тоже поднялся. Его лицо было безмятежным, как у человека с хорошими манерами.

— Прощу меня извинить, — сказал он тихо, направляясь в сторону слабоосвещённого коридора.

Я заметила его уход. Заметить было нетрудно — он был высоким, широкоплечим, его фигура на мгновение заслонила свет из коридора. Я мельком увидела, как его рука коснулась дверной ручки, и тут же отвела взгляд.

Прошло несколько минут. За столом зазвучали новые разговоры. Зою всё так же сидела с опущенными глазами, ковыряя вилкой в тарелке. Было в этом что-то тревожное, но я не могла понять, что именно.

Внезапно Зою уронила вилку. Звук удара о тарелку прозвучал на удивление громко в общем гомоне.

— Простите, — быстро проговорила она, поднимая вилку дрожащей рукой. — Я... я такая неуклюжая.

Я встала.

— Я принесу тебе другую, — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. — И заодно схожу в уборную.

Я вышла из столовой, чувствуя лёгкое беспокойство. Не знаю, почему, но я ощущала, что что-то не так. Мои шаги были тихими, почти бесшумными на старых половицах.

Я зашла в уборную, сполоснула руки под прохладной водой, посмотрела на себя в зеркало, по-прежнему улыбаясь. Я вытерла руки о полотенце и уже хотела вернуться в столовую, но что-то заставило меня замереть.

Приоткрытая дверь в комнату — что странно, ведь она всегда была закрыта, когда в доме были гости. Изнутри доносился слабый, почти неразличимый звук — шёпот, смех, тихий всхлип. Я подошла ближе, сама не понимая, зачем. Может быть, я хотела убедиться, что всё в порядке. Может быть, мне просто было любопытно, почему дверь не заперта.

Я заглянула в щель.

Деклан сидел на письменном столе, приподняв Марту и усадив её на край полированной столешницы. Её ноги были согнуты в коленях, его руки — одна на её бёдрах, а другая между ног Марты, пальцы впивались в ткань платья. Они целовались. Жестоко, пожирающе, словно каждый хотел проглотить другого без остатка. Его вторая рука скользнула по её бедру выше, и она не остановила его. Она тихо застонала — коротко, глубоко, с интимной хрипотцой, и у меня перехватило дыхание.

Я отшатнулась, как от удара. Сердце забилось где-то в горле, громко и глухо, заглушая все остальные звуки. Я прижалась спиной к стене, не в силах двинуться.

Что я только что увидела? Марта — та самая Марта, которая сегодня утром сияла на службе, которая пела о чистоте и любви к Господу? Деклан — парень, о котором Зои вздыхала последние три месяца? Они же оба из общины. Они же оба должны быть примером. Они же оба делают вид, что всё в порядке.

Я заставила себя сделать шаг. Потом ещё один. Я добралась до уборной, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней, пытаюсь восстановить дыхание.

В голове гудела пустота. Мысли не складывались в связные предложения.

Они целовались и ещё Бог знает чем занимались. Они знают, что это неправильно. Как она могла? А как же Зои?

Я видела их лица, их благочестивые улыбки, их руки, поднятые в молитве. И те же руки — впивающиеся в бёдра Марты.

Я провела ладонями по лицу, чувствуя, как они дрожат. Воздух был тяжёлым, спёртым, пахнувшим старым деревом и воском. В голове крутились обрывки проповедей, стихов из Библии, маминых слов о скромности. И всё это разбивалось о ту картину, которую я только что увидела. О железную хватку, с которой Деклан прижимал Марту к себе, о её запрокинутой голове, об их приглушённых голосах, в которых звучало что-то такое, чему не было места в нашем мире.

Я смотрела на своё отражение в зеркале. Глаза потемнели. Бледное лицо, расширенные зрачки, губы сжаты в тонкую линию. Я не узнавала себя.

Что я должна сделать? Сказать Зои? Или сказать родителям? Может быть, я просто должна молчать. Я не так поняла? Но я знала, что видела, знала, что не ошиблась. Я видела это своими глазами, и теперь эти глаза жгло изнутри.

Я вышла из уборной, натянув на лицо спокойную улыбку. Мои руки всё ещё дрожали, но я спрятала их в складках платья. Когда я вернулась за стол, Марта и Деклан уже сидели на своих местах, как ни в чём не бывало. Марта улыбалась родителям, Деклан что-то рассказывал мистеру Харрисону.

Я встретила взглядом с Зои. Она смотрела на меня странно — почти испуганно, почти умоляюще. Я перевела взгляд. Она снова уставилась в тарелку, где еда уже остыла.

Я смотрела на её поникшие плечи, на её дрожащие пальцы, которые сжимали вилку. Она знала? Знала ли она о них? Или просто чувствовала, что что-то не так? Я не знала. И это давило на грудь тяжестью, с которой я не могла справиться.

Вдруг я увидела, как Деклан, не поднимая глаз, легко коснулся руки Марты под столом. Она не отдернула руку. Она просто продолжала улыбаться родителям.

Я не могла дышать. Я почувствовала, как тошнота подступает к горлу.

Любовь всё покрывает? Чью любовь? Тех, кто притворяется? Или тех, кто не знает, что их предадут?

Где же тогда правда в этом мире, если те, кто учат нас чистоте, сами пожирают друг друга в полумраке чужих комнат?

Я смотрела на Зою, на её бледное лицо, и мне хотелось кричать. Кричать так, чтобы все услышали. Чтобы они поняли, что я видела. Чтобы они знали, что их благочестие — это просто хорошо отрепетированный спектакль.

Вместо этого я улыбнулась и поправила волосы, словно ничего не случилось.

Но внутри меня начинал зарождаться тот самый холодный, острый и очень опасный вопрос, от которого у меня заныло в груди: если те, кто учат меня любви, сами не знают, что это такое — то чему, чёрт возьми, я должна верить?

И этот вопрос будет преследовать меня до тех пор, пока я не найду на него ответ.

Глава 1

ГЛАВА 1

ОТРАЖЕНИЕ

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...»

Кончики моих пальцев скользнули по выпуклому тиснению на пожелтевшей странице семейной Библии. Слова, знакомые до боли. «Инструкция к человечности», — так всегда называл её папа, пастор Томас Эверетт, его голос всегда звучал в церкви по воскресеньям, наполненный убеждённой теплотой. Мама возражала в телефонную трубку подруге, что это утопия, когда думала, что я её не слышу, и в её голосе читалась усталая горечь. Для меня же эти строки были не инструкцией и не утопией. Они были истинным щитом до недавнего времени. Тяжёлым, с трещинами по краям от времени и неверия, но единственной реальной защитой от мира, где слово «люблю» легко уживалось с «предам», а «верю» соседствовало с «солгу», как привычные соседи по улице.

Неделя прошла, а я так и не поняла, куда деть то, что видела за приоткрытой дверью в родительском доме. Как приложить этот щит к Марте Финч, которая на следующий же день после того ужина снова стояла в первом ряду на службе, руки воздеты к сводам, лицо озарено тем самым набожным экстазом, который так ценил папа. Её голос звенел громче всех в хвалебном гимне, и я до боли сжимала страницу Библии, чувствуя, как бумага мнётся под пальцами. От этих воспоминаний мне хотелось, чтобы она расцарапала подушечки пальцев в клочья.

Взгляд замер на фотографии в дубовой рамке, что стоит на столе: папа, мама, я, лет десять назад, все улыбаемся на ступенях этой же церкви.

В прошлом году, как только я поступила в университет, родители настояли на переезде в поместье, которое они достроили для меня после смерти дедушки и бабушки, ведь состояния хватало, строительство огромной территории было идеей дедушки: он всегда относился ко мне с особой, трепетной теплотой и хотел оставить после себя что-то весомое, как это обычно бывает у стариков. Бабушка лишь поддержала инициативу, они не ходили в церковь и не были слишком религиозными, не такими, как мои родители, но они были самыми лучшими.

За год с лихвой я успела обжить это поместье. Не то чтобы я была против переезда от родителей, просто я не была готова к таким быстрым переменам, не говоря уже о том, что здесь часто бывает одиноко и жутко, особенно по ночам. Но если не обращать внимания на ветки, что вечно стучат и царапают крышу, — ужиться можно, да и вообще, наверное, я уже привыкла.

Проповеди папы о честности, что должна гореть в каждом сердце, трогали до слёз даже самых скептических посетителей церкви. Он говорил об этом так красиво, что я почти поверила снова, почти позволила той картине из приоткрытой двери стереться, отойти на задний план. Почти. Но накануне отец солгал маме о срочной встрече с попечительским советом церкви. Я случайно услышала его разговор с мамой в кабинете — низкий, виноватый голос: «Прости, дорогая, совет затянулся». А сама видела, как он выходил из паба «Королевский Дуб» через дорогу, в компании тех же попечителей, их громкий смех разносился по улице.

Любовь всё покрывает? Я наблюдала, как первые тяжёлые капли осеннего дождя расплываются по поверхности стекла, сливаясь в причудливые, мутные узоры. Но покрывает ли она ложь милосердием или тяжёлым, душным молчанием?

Ветер, гулявший по узким улочкам нашего провинциального городка Миствейл, усилился, завывая в щелях поместья. Звук был тоскливый, предвещающий ненастье. Я вздрогнула, отходя от окна, чувствуя, как холод проникает под тонкий свитер. Тихий, но отчётли-

вый шелчок тяжёлой обложки Библии прозвучал неожиданно громко в тишине моей комнаты. Книжки, старые и новые громоздились от пола до потолка, создавая ощущение крепости. Массивный дубовый стол, унаследованный от деда, а в центре мой верный ноутбук. Единственное яркое, тёплое пятно в этой комнате шерстяной плед цвета увядшей розы, кропотливо связанный бабушкой много лет назад. Здесь, среди знакомого запаха старой бумаги, воска для мебели и лёгкой пыли, только здесь я могла дышать. Выпускать наружу ту часть себя, которую приходилось теперь тщательно прятать, чтобы сомнения и вопросы, появившиеся в моей голове, оставались в пределах этих стен.

Я глубоко вздохнула и нажала кнопку на ноутбуке. Гул системника, низкий и ровный, нарушил тишину, став уже привычным саундтреком моих вечеров. На экране всплыл чистый лист моего тайного убежища — блог, затерянный в безликих глубинах интернета. Никаких имён. Никаких узнаваемых деталей. Ни одного фото. В это самое мгновение у меня был только один вопрос: я правда всего этого не замечала до сих пор, или просто не хотела замечать? Единственная возможность крикнуть в бездну, но крикнуть шёпотом.

Пальцы зависли над клавишами. Образы недели нахлынули: сияющее лицо Марты на службе, пустое место рядом, где стояла Зои. В тот день она написала скупое смс о том, что заболела и не сможет прийти, снисходительные взгляды старейшин общины, папин голос, звучавший так убедительно о честности. Всё это клокотало внутри, как и события прошлой недели, когда розовые очки, сидевшие на мне очень крепко, разбились стёклами внутрь, и тёмный, едкий поток требовал выхода, угрожая разорвать меня изнутри.

Наконец я осмелилась коснуться клавиш. Сначала медленно, подбирая слова, потом быстрее, набирая обороты. Слова текли сами, выплёскивая на экран горечь, разочарование и боль, которую я вынуждена была так тщательно скрывать.

«Воскресный ланч в церковном зале с недавних пор для меня это стало чем-то большим, чем просто совместная трапеза. Это странный спектакль. Что-то удушающее и одновременно вежливое, пропитанное фальшью. Пастельные тона юбок, безупречные, будто выверенные по линейке улыбки, размеренные разговоры о благодати Божьей — и шипящий подтекст, шепоток о тех, кто в эту благодать, видимо, не вписался на прошлой неделе. Стояла сегодня и смотрела на них, столпов нашей общины, медленно жующих сэндвичи с огурцом и обсуждающих печальное падение мистера Барроуза, который, если отбросить лицемерие, просто запил после несправедливого увольнения с фабрики. Мы с таким рвением выискиваем трещины в других, наслаждаемся их падениями, что совершенно не замечаем, как наши собственные стены праведности тихо осыпаются, превращаясь в пыль, которую мы старательно и осуждающе сметаем с чужих порогов. Знаете, чем на самом деле пахнет лицемерие? Дешёвым чаем из пакетиков, сладким церковным печеньем... и страхом. Глубинным, леденящим душу страхом. Страхом, что однажды кто-то посмотрит тебе в глаза и увидит там ту же самую грязь, то же самое несовершенство, которое ты так яростно осуждаешь в других. Страхом быть разоблачённым.

На этой неделе я видела кое-что, о чём не решаюсь написать прямо. Не сейчас. Скажу лишь одно: если бы половина из тех, кто по воскресеньям поднимает руки с закрытыми от восторга глазами, знала, что творится за закрытыми дверями их собственных детей, эти руки задрожали бы и опустились. И я больше не уверена, что моя семья каким-то чудом является исключением из этого прогнившего правила.»

Я перечитала текст. Сердце колотилось где-то в горле, учащённо и гулко, будто пытаюсь вырваться наружу. Горький привкус на языке. Последний абзац дался тяжелее остальных. Ещё неделю назад я бы никогда не намекнула на что-то настолько узнаваемое, настолько близкое к дому. Но сегодня рука будто двигалась отдельно от рассудка, отдельно от голоса совести, который всю жизнь диктовал мне, что можно, а что нельзя.

«Опубликовать»? Палец замер над панелью мышки. Риск. Казалось бы, минимальный, никто не знает, кто сидит за экраном. Но мой отец пастор. Моя семья всегда на виду. Один неверный шаг, одна случайная утечка... Я поняла, что если я этого не сделаю, то эти мысли сожрут меня изнутри, другого выхода не было. Я сделала глубокий, дрожащий вдох, наполняющий лёгкие до боли, — и решительный клик.

Пост ушёл в цифровую бездну, растворившись среди миллионов других. Я откинулась на спинку старого венского стула, чувствуя странную, почти болезненную смесь облегчения и подступившей тошноты. Пустота внутри сменилась ледяной дрожью.

Минуты тянулись мучительно медленно. Пять. Десять. Тиканье старых настенных часов в коридоре казалось оглушительным. За окном ветер загнал дождь в стекло с новой, яростной силой. Потоки воды стекали по стеклу, искажая вид на темнеющий лес и силуэт церкви вдаль. Я машинально обхватила себя руками, пытаясь согреться, но холод шёл не от сырого окна. Он исходил изнутри, из самой глубины моего нутра, где поселился внезапный, острый страх, смешанный с жгучим любопытством. Словно мне хотелось быть услышанной и увиденной, но это желание так сильно смешивалось со страхом быть застуканной за чем-то чертовски неправильным и кричащим.

Это неправильно. Не этому тебя учили родители.

В голове сейчас навязчиво и тревожно. Тишина комнаты, нарушаемая только завыванием ветра и стуком дождя, казалась вдруг гулкой, наполненной невидимым присутствием. Я сидела неподвижно, уставившись в экран, на эти несколько строк, чувствуя, как знакомые стены моего поместья начинают медленно, неумолимо сдвигаться, открывая путь чему-то новому, неведомому и пугающе неконтролируемому.

Утро сегодняшнего дня принесло моему лицу серую, промозглую усталость. Яркие-серые глаза на фоне бледной кожи припухли от бессонницы, веки в зеркале смотрелись безумно тяжёлыми и ощущались примерно так же. Я часто любила рассматривать себя в зеркале. С самого детства, сколько я себя помню, я могла пялиться на собственное отражение часами. Мне становилось с каждым разом всё интереснее и интереснее: почему именно так нас сотворил Бог? С двумя глазами, одним ртом и носом, с причудливой формой волнообразных бровей и такой забавной улыбкой. Как люди вообще начали понимать, что изгибающиеся вверх уголки губ это высшая точка удовольствия, а опущенные вниз горь? Когда мне было семь, я мучила маму подобными вопросами, пока она не выдыхалась, не находя ответов. Сейчас же, уже с принятием, пусть даже без понимания явных причин, я просто смотрю. Без былого детского любопытства, но смотрю. И использую все возможности своей свободы на максимум: корчу смешные выражения лица, хмурюсь, чтобы посмотреть, сколько морщин прибавится между бровей, удивляюсь, чтобы увидеть, сколько их на лбу. Кокетливо подмигиваю, улыбаясь одной стороной губ, словно могу позволить себе это в повседневной жизни, эту лёгкую фамиллярность с собственным лицом.

У меня есть любимое выражение — необъяснимое сочетание эмоций, которое я обожаю использовать в своей ежедневной рутине. Я чуть морщу курносый нос: движение напоминает мимику кролика, когда он чувствует опасность. И когда у меня это выходит, я ухмыляюсь. Края слегка полных от утренней припухлости губ с неподдельной искренностью ползут вверх, уголки глаз сужаются, а в самом взгляде поблёскивает что-то коварное. Пока что я не понимаю, зачем эта эмоция существует на моём лице и для какого случая она понадобится. Но она мне определённо нравится. Думаю, это напоминает выражение морды лисицы, когда она точно знает, чего хочет, и уверена, что добьётся этого любой ценой. Абсурдно, но в такие моменты я чувствую себя самым свободным человеком на земле и позволяю себе, откинув голову назад, рассмеяться детским, почти наивным смехом. Сегодня это маленькое, никому не видное непослушание, единственное, что я могу себе позволить перед тем, как снова надеть на лицо приличия.

Я думаю... нет, я убеждена, что свобода человека ограничивается не записями в Библии, не тяжёлыми взглядами осуждения. Свобода — это личный вопрос: насколько далеко я готова зайти, чтобы не предать собственные ценности? Чтобы не раскаиваться потом в молитве, умоляя Бога о прощении? Чтобы не продать свои же интересы за дешёвую цену и не разочароваться в собственной преданности самой себе?

Может быть, свобода — это не когда ты можешь всё. А когда ты знаешь, что именно в эту самую секунду ты выбираешь себя, даже если весь мир говорит тебе, что это неправильно. Даже если завтра ты проснёшься с чувством вины и снова уткнёшься взглядом в этот же потолок, размышляя, где свернула не туда. Но сегодня, стоя перед зеркалом, я позволяю себе быть той, кто смеётся над собственным отражением, кто щурится в ответ солнцу, и кто пока не знает, насколько далеко зайдёт, чтобы не предать саму себя.

И, возможно, именно в этом незнании и есть моя настоящая, пугающая и одновременно освобождающая свобода.

После тяжёлых мыслей вчерашней ночи я решаю не завтракать в одиночестве. Быстрыми, почти судорожными рывками собираю всё, что может понадобиться, закидываю в сумку и спускаюсь на первый этаж. Огибая края широкой лестницы, перепрыгиваю через каждую лишнюю ступеньку в этом чертовски огромном доме. У самого выхода делаю последние штрихи специально для родителей: поправляю воротник рубашки, застёгиваю последнюю пуговицу — ту, что больно давит на яремную ямку, оставляя после себя чувство сдавленности. Игнорируя дискомфорт, торопливо наношу блеск на тёмно-розовые губы, бросаю последний взгляд в зеркало и, словно ошпаренная, вылетаю из дома, захлопывая за собой дверь.

До дома родителей минут двадцать ходьбы. Но я бегу. Светло-русые волосы развеваются от холодного, сырого ветра, оставшегося после ночного дождя. Пару раз я чуть не поскальзываюсь на лужах грязи, но успеваю вовремя балансировать, ловить равновесие, закусывая внутреннюю часть щеки, мысленно ругая себя за то, что позволила себе опаздывать. Дорога сжимается до десяти минут и вот я уже за завтраком на кухне родительского дома с видом на мокрый сад. В воздухе висело привычное напряжённое спокойствие. Папа просматривал новости на планшете, комментируя что-то вслух. Мама молча раскладывала омлет. Лишь тень под её глазами выдавала усталость.

— Элиза, солнышко, ты бледна, — папа отложил планшет, его пронизательный взгляд скользнул по моему лицу. — Ты перетрудилась? Учёба важна, но «В покое и уповании сила ваша». Исайя 30:15. — Его голос был тёплым и заботливым — ровно настолько, чтобы я не могла усомниться в его искренности.

— Просто дождь не давал уснуть, пап. — Я заставила губы сложиться в подобие улыбки, подбирая крошки со скатерти. — Только сейчас мысль о вчерашнем посте блога жгла изнутри.

— А Марта Финч вчера просто светила, — продолжил папа, отхлёбывая кофе. — Такая искренняя радость в Господе. Настоящий пример. Тебе стоит почаще с ней общаться, дорогая. Она могла бы стать тебе доброй подругой. — Его тон был искренне убедительным. Он верил в каждое слово. Это делало всё только хуже.

От его слов я едва не поперхнулась. Конечно светила. После того как... Я посмотрела на маму. Та встретила мой взгляд на мгновение — в глазах мелькнуло что-то быстрое, усталое, почти извиняющееся и она тут же опустила глаза. Молчание. Вечное, тягучее молчание, которое стало нашим общим языком.

— Зои тоже не было, — осторожно проговорила я. — Пишет, что заболела. — Зои была, и, наверное, остаётся моей лучшей подругой ещё с начальных классов. Вечные ночёвки, совместные прогулки, обе из семей верующих родителей. Только вот Зои запротестовала, семью стали осуждать за то, что родители не смогли подать ребёнку правильный пример, не смогли рассказать Зои о Боге так, чтобы она вдохновилась и поверила всей душой и телом. Помню, как это началось: Зои было четырнадцать, и на молодёжном служении она вслух спросила ста-

рейшину, почему Бог допускает, чтобы хорошие люди страдали больше плохих. Вопрос был совершенно невинный, детский почти. Но с того дня к ней приклеился ярлык «сомневающаяся», «не до конца укоренённая», и этот ярлык, кажется, так и не отклеился, просто выцвел со временем, как чернила на старом письме. Но вскоре, как и всякая грязь, смылось и это осуждение, по крайней мере с виду. Внутри, мне кажется, что-то так и осталось надтреснутым, и я до сих пор не знаю, насколько глубоко идёт эта трещина.

— Бедняжка, — кивнул папа, возвращаясь к планшету. — Нужно передать ей куриный бульон и пожелать скорейшего выздоровления. Забота общины — наша отрада и сила.

Община. Слово звучало уютно и прочно, как старый, проверенный фундамент. Но за последнее время я ощущала его невидимые, колющие грани. Теперь я начала слышать, как община судит шёпотом за спиной. Многие носят маски, под которыми прячется всё, что запрещается произносить вслух. Груз этой двойной жизни становился тяжелее с каждым днём, с каждым взглядом, с каждым «аминь» от людей там.

Дорога в университет Белвью была мокрой и неприветливой. Изморось застилала готические силуэты учебных корпусов из тёмного кирпича серой, липкой дымкой. Студенты спешили под зонтами, их смех и разговоры казались чужими, отстранёнными, звуки из другого мира, в который у меня больше не было доступа. Я шла, уткнувшись взглядом в блестящую от влаги брусчатку, чувствуя камень тревоги и, кажется, паранойи в груди. Я должна увидеть Зою. Увидеть её глаза. Понять глубину раны, нанесённой Мартой, если, конечно, дело действительно было в Марте, а не в чём-то, о чём я даже не догадывалась.

Первые пары прошли как в тумане. Я механически записывала лекцию по истории литературы, но слова профессора Харгривза о возвышенных идеалах романтизма разбивались о непрестанно крутящиеся в голове мысли. Несколько раз я украдкой проверила блог на телефоне под партой — никаких комментариев. Я пользуюсь блогом лишь тогда, когда чертовски хочу выговориться, вернее сказать — проорать свою правду в цифровую пустоту. Читателей толком нет, и всегда было легче осознавать подлинность происходящего, когда это происходило не только в моей голове, но и в моём блоге. Страх есть всегда, но никогда я не писала о церкви так близко к правде, как вчера. Ответа никогда ждать не стоило. Разве что сейчас какой-нибудь чудак смог бы пробить IP-адреса пользователей поблизости. Но даже тогда пришлось бы рыскать среди нескольких тысяч человек. Если сузить поиск только до служителей церкви, то остаётся около трёхсот. Нужно быть одержимым маньяком, чтобы понять, кто разглагольствует в сети и пишет подобные посты. Пустота принесла странное разочарование, смешанное с облегчением, как глоток воздуха после долгого пребывания под водой.

На большой перемене я наконец нашла Зою у шкафчиков на первом этаже. Подруга стояла, прислонившись к холодному металлу, кутая лицо в высокий воротник тёмного свитера. Она действительно выглядела нездоровой: бледная, почти прозрачная, с глубокими синяками под глазами, которые казались неестественно большими на осунувшемся лице. Её обычно живой взгляд был туманным и отсутствующим, будто она смотрела сквозь меня, в какую-то свою бездну.

— Зою, — Я подошла осторожно, не решаясь прикоснуться. — Как ты себя чувствуешь? Папа передаёт горячий бульон. — Я протянула аккуратно упакованный ланч-бокс, надеясь, что этот маленький жест хоть немного растопит лёд.

Зоя вздрогнула, словно очнувшись. Её глаза медленно сфокусировались на моих. В них не было прежней искры, только глубокая, звериная усталость и... стена. Высокая и глухая.

— Бульон? — она хрипло усмехнулась. Звук был сухой и неприятный, как скрежет камня о камень. — Мило с его стороны. Спасибо. — Она отвернулась, делая вид, что внимательно роется в шкафчике. Её движения были резкими, нервными, она захлопнула дверцу с такой силой, будто хотела захлопнуть вместе с ней и весь мир.

— Зои, что случилось? — Я слегка понизила голос, озираясь на проходящих студентов. — Вчера я.. — я запнулась, подбирая слова, — я кое-что видела в доме родителей.

Зои резко хлопнула в ладоши, почти издевательски наклонив голову. Звук гулко отозвался в шумном коридоре, заставив нескольких прохожих обернуться.

— И что ты там видела, Элиза? — теперь в её глазах, поверх усталости, горела глубокая, раненая обида. — Голос её дрожал, срываясь на хрипоту. — Пожалуйста... — она сжала виски пальцами, — просто оставь меня сейчас. У меня нет сил... нет сил на твои...

— Просто прекрати общаться с этой чёртовой Мартой, Зои! — выкрикнула я это громче, чем планировала, чувствуя, как злость и жалость сплавляются в горле в одно тяжёлое, душное чувство. Мне хотелось, чтобы она поняла — я знаю. Знаю и не отвернусь. Но слова вышли резкими, обвиняющими, совсем не такими, какими я хотела их произнести.

Несколько студентов обернулись, их взгляды скользнули по нам с любопытством, смешанным с осуждением.

Резко развернувшись, Зои окинула меня взглядом, холодным, чужим, полным разочарования и, быстро перебирая ногами, растворилась в толпе студентов. Оставила меня стоять с нераспакованным ланч-боксом в руках, чувствуя острый укол вины и полную растерянность. Это просто крик души от боли предательства Марты? Или что-то глубже, о чём я даже не догадываюсь?

Знакомое чувство изоляции сжало горло. В груди начало печь, не от обиды, а от бессилия.

В прошлом в историю Зои даже пытались ввязаться старейшины общины — посылали Зои письма с искренними добрыми пожеланиями, а родители передавали их в комплекте с печеньем, что испекли для церкви. Но мне кажется, Зои даже не читала этих писем, потому что знала, что там будет: уговоры вернуться к Богу, пожелания чистой веры и, конечно, щедрого сердца. После этого случая родители нашу дружбу не слишком одобряли, спрашивая: «А чему она тебя научит?» В какой-то момент мы поняли, что это слишком мешает. Пришлось сильно отдалиться. Но, конечно, ни одна из нас не рискнула начать об этом говорить. Мы приняли, что так просто сложилось.

Я не виню родителей. Но даже сейчас Зои — единственный человек в университете, и даже я осмелилась бы это сказать, в подростковой церкви, кто честен до конца. Она не будет широко улыбаться, натягивать чёртову улыбку ради того, чтобы кому-то понравиться. Она будет настоящей до конца. Я глубоко уважаю таких людей, и за это Зои нравилась мне больше всего. Между нами осталось доброе послевкусие. Если нужно, каждая из нас взяла бы трубку в три часа ночи, если бы другая позвонила. С радостью прогулялась бы, выслушивая и поддерживая другую. Но сейчас у Зои определённо нелёгкий период, о котором я совершенно ничего не знаю и могу только догадываться. Если честно, меня это приводит в бешенство.

Я стояла, потерянная, пытаюсь перевести дыхание. Шум коридора — гул голосов, смех, звонки телефонов — обрушивался с огромной силой, оглушительной и враждебной. Я чувствовала себя голой под взглядами, которых, вероятно, и не было. Мне отчаянно нужно было выбраться отсюда. Найти тишину. Глотнуть воздуха. Я быстрым шагом, разрезая воздух, шла к боковому выходу, ведущему в старый, заросший плющом внутренний дворик — обычно пустынный в такую погоду.

Протискиваясь сквозь группу громко спорящих студентов-политологов, я неловко споткнулась о чей-то небрежно брошенный на пол рюкзак. Руки инстинктивно выбросились вперёд, но равновесие было потеряно. Я грузно шлёпнулась на колени, рассыпав книги и тетради по мокрому от грязных ботинок полу. Горячие волны унижения и стыда накатили, сжимая горло в стальной тисках.

— Ой-ой, осторожней, Элиза! — раздался сладковатый, исполненный фальшивой заботы голос. — Не ушиблась? Надо же, все твои записи по полу разлетелись.

Это была Марта Финч. Она стояла, глядя на меня сверху вниз. Её лицо сияло нарочитой симпатией, но в уголках губ играла едва уловимая, ядовитая усмешка. Её подруга Руби стояла рядом, наблюдая с откровенным любопытством — как зрители в первом ряду на дешёвом спектакле.

Не поднимая глаз, я торопливо начала сгребать разлетевшиеся листы. Щёки пылали огнём. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, стать невидимой.

В этот момент мимо, почти задев моё согнутое плечо, прошёл кто-то высокий. Мелькнул тёмный рукав безупречно сидящего пальто из тонкой шерсти. Уловился лёгкий, дорогой и сложный аромат — сандаловое дерево, ветивер и что-то холодное, металлическое. Он не остановился. Не замедлил шаг. Даже не повернул головы в мою сторону.

— Бедняжка, — с преувеличенным сочувствием протянула Марта, когда я наконец поднялась, прижимая грязные, помятые тетради к груди, словно щит. — Давай я помогу тебе донести? Или... — её голос стал слаще, а взгляд острее, — ты, наверное, и сама справишься. Обязательно помолись вечером, малышка. — Она выдавила из себя последние слова, брезгливо обходя меня стороной. Её слова были обёрнуты в фольгу показной добродетели, но остриё колкости было направлено точно в цель.

Не сказав ни слова, я лишь крепче сжала тетради и пробилась к тяжёлой дубовой двери, ведущей во дворик. Чувствуя на спине их пристальные, оценивающие взгляды — смесь фальшивой жалости и злорадного любопытства, — я шагнула наружу.

Холодный, влажный воздух ударил в лицо, смешавшись с предательски навернувшимися слезами. Я прислонилась спиной к шершавой, холодной кирпичной стене, закрыв глаза. В ушах всё ещё стоял сладкий, противный голос Марты. Перед глазами — пустой, обиженный взгляд Зои. Я была среди всех словно пустым местом, недостойной даже мимолётного взгляда. Каменный груз одиночества и непонимания давил на грудь. Я сжала тетради так сильно, что пальцы побелели. Библия, лежащая на самом дне сумки, казалась сейчас хрупким пергаментом, трещащим под напором реального мира.

Я открыла глаза. Дождь моросил, оседая холодной пылью на ресницах. Впереди был только долгий день и тихий вечер. Но внутри меня разгоралось что-то другое — тёмное, опасное и незнакомое.

Помимо прочего, я вновь почувствовала обжигающую внутреннюю стенку груди, злость. Словно иная часть меня — самая истинная, самая дикая — сейчас пытается разбить эти чёртовы устои в моей голове, которым меня научили. А что, если я не хочу подставлять вторую щёку, если меня ударили по первой? Что, если сейчас я пылаю настолько, что хочу догнать эту чёртову суку и отхлестать её по накрахмаленным пудрой щекам, чтобы румянец, проступивший от жгучей боли, проявился сквозь её косметику?

Ты не такая. Оставь голодными своих демонов.

А что, если единственное, чего я желаю в это самое мгновение, — закричать на всю округу так, чтобы меня наконец увидели, заметили, поняли и услышали? Я так устала, Боже...

Накорми своих демонов.

Неужели моя вера настолько слаба и хрупка, что я готова остановиться и сломаться под простыми издёвками? Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я была чистой и правильной. Я была вежливой, доброй, скромной и благоразумной. Я была послушной, смиренной, немногословной, покладистой и покорной. Я была кроткой... Я была... Я была удобной... — голос в моей голове затуманился и уступил место неизвестной до сих пор дерзости. — Я была жертвенной и уступчивой. И я стала чертовски неправильной и несвободной. Я стала изменщицей собственному нутру. Я стала одинокой. Я стала... Боже, что они со мной сделали? Что же они со мной сотворили?

Я начинаю рвать в клочья волосы на собственной голове, чувствуя, что только так, через боль, моя агония злости, обиды и боли не уносит меня прочь. Я сжимаю кулаки так сильно, что

чувствую, как ногти больно врезаются в кожу, оставляя багровые полумесяцы. Горячие слёзы льются по лицу, смешиваясь с холодным дождём, и лишь сейчас я всерьёз начинаю задаваться вопросом: в какой момент я свернула не туда?

Я делаю глубокий вдох и выпускаю протяжный выдох, медленно расслабляя мышцы рук. Они, словно кукольные, неудержимо падают вниз. Я инстинктивно делаю ещё пару всхлипов и тыльной стороной кисти стираю слёзы с пунцовых щёк, оставляя место только дождю, который продолжает лить с неустанной, почти жестокой настойчивостью. Последняя гримаса боли на лице стирается, уступая место новой мысли.

Ты не обязана быть идеальной, Элизабет.

Я поднимаю голову. Смотрю на серое, местами пастельно-персиковое небо, на мокрые ветви деревьев, на мир, который продолжает существовать, не замечая моей внутренней бури. И впервые за долгое время я чувствую не страх, не вину, не стыд. Я чувствую что-то другое. Что-то, что не вписывается ни в одну из проповедей, что я слышала за всю свою жизнь.

Я чувствую себя живой. Настоящей. Готовой на всё. Даже если это всё окажется проигрышем.

ГЛАВА 2